Автобиографические анекдоты

Булат Шалвович Окуджава

SHOUT
SHARE
IT

- Булат Окуджава
  - Гений
  - Любовь навеки
  - Гитарист
  - Большая честь

Булат Окуджава
Автобиографические анекдоты

Гений

Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!» Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.

И вот однажды дядя меня спросил:

– А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было… и у Безыменского… А у тебя ни одной…

Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.

Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.

– Здравствуйте, – сказал я.

– О, здравствуйте, здравствуйте, – широко улыбаясь, сказал он. – Вы ко мне?

Я кивнул.

– О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..

Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:

– Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи…

– О! – прошептал он.

– Мне хочется… я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского…

Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда…

Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:

– Книгу?! Вашу?!. О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! – Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: – Но, видите ли, у нас трудности с этим… с бумагой…

это самое… у нас кончилась бумага… ее, ну, просто нет… финита…

– А-а-а, – протянул я, не очень-то понимая, – может быть, я посоветуюсь с дядей?

Он проводил меня до дверей.

Дома за обедом я сказал как бы между прочим:

– А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу… но у них трудности с бумагой… просто ее нет…

– Бездельники, – сказала тетя.

– А сколько же нужно этой бумаги? – по-деловому спросил дядя.

– Не знаю, – сказал я, – я этого не знаю.

– Ну, – сказал он, – килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два…

Я пожал плечами.

На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал.

Любовь навеки

В ранней молодости я был поразительно влюбчив. Нет-нет, это была не похотливость, не склонность к разврату, не холодная расчетливость самца. Это был жаркий огонь, умопомрачение, платоническое безумие. Я влюблялся. И когда смотрел на предмет своей влюбленности, у меня вырастали крылья, и я понимал, что отныне это навсегда.

Конечно, некоторое легкомыслие, свойственное возрасту, определяло степень этого пожара, но я был абсолютно порядочен, верен, щедр, склонен к самопожертвованию и счастлив. И все это до той поры, пока не возникала другая.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул и понял, что это навсегда. Ее предшественница тотчас померкла. И дело тут было не в красоте, не в особых каких-то достоинствах. Я уже тогда сознавал, что есть что-то, какая-то таинственная власть, утверждающая мое восхищение. Смешно было бы говорить, что у этой, например, глаза были прекраснее, чем у той, или что у этой манера общения была обворожительней. Нет-нет, и глаза у той были прекрасней, и манера общения, и нос, и губы, и характер… А сгорал от этой и искренне верил, что уж теперь все, что это навеки.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул. Она была прекрасна. Высокая, стройная брюнетка с локонами, покоящимися на плечах, с зелеными глазами, с загадочной улыбкой. Она была немногословна, и за этим тоже таилось нечто, что не давало покоя. Я, как брюнет, обычно был склонен к блондинкам, но тут все блондинки показались заурядными. Я даже, помню, удивлялся, мол, как это можно было иметь дело с той и даже ею восхищаться и так обольщаться на ее счет, когда в мире существовала эта!

Я жил тогда в Тбилиси у своей тети. Шел сорок пятый год. Тетя меня очень любила и была мне вместо матери. Меня, как вчерашнего фронтовика, легко приняли в университет и многое прощали. А прощать было что. Филология меня не очень возбуждала, но мысль о том, что я вчерашний фронтовик, что я жив, что мне в связи с этим все дозволено, что очередная пассия не сводит с меня глаз, что вечером мы пойдем с нею в парк Дома офицеров и будем отбивать ноги в танго, фокстроте, в вальсе-бостоне, – мысль об этом очень возбуждала меня.

И вот появилась Алиса Бошьян, и я вздрогнул и уже через несколько дней решил познакомить ее с моей тетей. Всех предшественниц я тоже приводил к тете, и всем она давала самые

возвышенные оценки. И это стало традицией.

– Вот, – сказал я взволнованно, – знакомьтесь, это Алиса Бошьян.

– Я очень рада, – сказала тетя, – он столько рассказывал о вас, и с таким восхищением, что не терпелось познакомиться… О, вот вы какая! Ну, заходите, заходите, я очень рада…

Мы ужинали втроем. Было очень сердечно. Я смотрел то на Алису, то на тетю. Разговор был милым и непринужденным. Тбилисский вечер вплывал в окно. Как хорошо, что закончилась война!

Уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро. Вбежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола.

– Ну что?! – почти закричал я. – Какова, а? Я ведь говорил!.. Ты ведь не разочаровалась? Да? Да?..

– Ну что ты, – сказала тетя и погладила меня по голове, – она великолепна! Какая фигура! А глаза!.. – Ушла на кухню, вернулась: – Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги… – и тут же поправилась: – ножки… Впрочем, может быть, и показалось… Да это, в сущности, такой пустяк… Не так ли?

– Конечно, – выдохнул я оторопело.

Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. Подумаешь, думал я, какая мелочь! Утром, проснувшись, снова подумал о том же. Приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц. У всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу.

Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались, я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей и, оглядев ее, понимал, что это навеки.

Гитарист

Это случилось в пятьдесят девятом году. Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.

Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым.

Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь.

И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника… И звон стекла, и кряканье, и вздохи – и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этакий ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.

В доме Павла я был впервые, и родственники его были мне незнакомы. Судя по их лицам и разговорам, простые милые люди, в основном из московских работяг. Они и преобладали за столом. А наших было мало, и они, конечно, старались не очень-то «высовываться» и не нарушать господствующего климата своим интеллектуальным вздором. Так, нашептывали друг другу всякие остроты и посмеивались украдкой. Только Володя Максимов был крайне мрачен.

Наконец, когда было достаточно выпито и съедено, отяжелевшие гости потянулись в соседнюю комнату. Мои подмигивали мне многозначительно. Я шел и понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.

В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и

волновался: очень хотел угодить слушателям.

– Что же мне вам спеть? – спросил я, перебирая струны, – что-то сразу и не соображу…

– Может быть, «Сапоги»? – шепнул кто-то из своих.

Я подумал, что «Песенка о сапогах» – это военное. Это не ко дню рождения… И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.

– Ну, «Неистов и упрям…», – подсказали снова.

– Нет, – сказал я, – начну-ка с «Последнего троллейбуса»… Все-таки московская тема…

Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.

«Когда мне невмочь пересилить беду…» – запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет «Песенка о Леньке Королеве». Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская.

Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: «…и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает…» – и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

– Веселую давай!.. «Цыганочку»!..

– "Цыганочку"!.. – загудели гости, и кто-то затянул «Ехал на ярмарку ухарь-купец…».

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:

– Пошли отсюда!.. – и повел меня насильно в прихожую. – Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.

– Я не хотел тебе говорить, – сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, – когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано – «гитарист»!

Большая честь

Самое начало шестидесятых. У меня уже некоторая известность. Крутятся магнитофоны. Появляются в газетах бичующие меня фельетоны. Это еще больше усиливает интерес ко мне. Бурное для меня время, очень значительное. Ведь мною интересуется публика, ну, может быть, и не очень широкая, ну и, конечно, интересуются не столько мною, сколько моими песенками, которые они пересказывают друг другу, напевают, находят в них что-то близкое для себя… Большая честь.

И вот однажды звонит мужчина с завода твердых сплавов, где-то в районе Марьиной рощи. Называется председателем профкома. Голос у него какой-то странный, какие-то подозрительные интонации слышатся в его речи. Он долго выспрашивает меня – Окуджава ли я и пою ли я свои песни… Ах, тот самый?.. И выступаете с ними?.. Ну да… ну конечно… и выступаете… Тогда вам нужно срочно к шести часам быть у нас в профкоме. Тут дело чрезвычайной важности… Тут, понимаете, такая каша заварилась!..

Еду. Ломаю голову: что может быть у меня общего с заводом твердых сплавов?! Какие это твердые сплавы?!

В профкоме множество народу. Все смотрят на меня разинув рты, всплескивают руками, ахают, чертыхаются.

– Здравствуйте, – говорю я, – что это случилось?

И председатель профкома, задыхаясь от волнения, рассказывает мне о происшедшем.

О том, как несколько дней назад явился в профком молодой человек высокого роста, широкоплечий. Льняные волосы украшают голову. Голубые глаза дружелюбно распахнуты. Сдержан. Немногословен. Вы про Окуджаву что-нибудь слыхали? Мы говорим, мол, слыхали, слыхали, ну и что? А я и есть Окуджава, ну, здравствуйте. Тут все наши сбежались, и мы начали сговариваться о его выступлении в нашем клубе. Договорились как раз на сегодня, на семь вечера. Он сказал, что ему нужен аванс в пятьдесят рублей, а остальные, мол, после вечера. Ну, мы дали ему аванс, и он ушел. И тут, через полчаса, наш бухгалтер возьми и скажи: по-моему, Окуджава вовсе не такой. Он и постарше, и помельче вроде, худенький такой, и усики у него… Что-то тут не так… Началась у нас паника, и вот сегодня мы к началу вызвали опергруппу после разговора с вами. Скоро он явится, представляете? И возьмут его с поличным, а вы будете свидетелем!

Ко мне подходит лейтенант милиции и спрашивает:

– А документики у вас есть?

Предъявляю ему удостоверение. Все в порядке. Он говорит:

– Прошу всех лишних покинуть помещение.

– Публики полон зал, – говорит кто-то.

Все наэлектризованы. Я больше всех. Дрожь меня сотрясает. Особенно когда думаю о сумме аванса. Ведь в те годы пятьдесят рублей – это была неслыханная плата за выступление, а тут аванс! Я, выступая по разным клубам, получал самое большее тринадцать рублей, а тут аванс!

И вот дело уже к восьми, а мошенника все нет.

– Не придет ваш жулик! – смеется лейтенант. – Что он, дурак, что ли?

– Подождем еще немного, – говорит председатель профкома без всякой надежды.

В восемь часов председатель говорит мне:

– Пойдемте, хоть покажитесь публике… Вот беда!

И вот я выхожу из-за кулис на сцену, и зал меня приветствует, и председатель, вышедший со мной, потерянно говорит в зал:

– Тут, понимаете, вот какая штука получилась… Как бы вам это объяснить…

Я отодвигаю его от микрофона и рассказываю о случившемся. Все хохочут, аплодируют и кричат:

– Пойте! Пойте!..

Председатель шепчет мне:

– Может, выступите?.. Что же теперь-то… Уж теперь придется…

Вдруг у меня мелькает мысль, что все это затеяно специально, чтобы заставить меня выступить!.. Впрочем, эта мысль тут же гаснет, потому что в те годы меня не нужно было уговаривать и всякое приглашение выступить я почитал за большую честь… И все-таки я замотал головой и наотрез отказался, мол, я не готовился, и гитары со мной нет, и вообще вы сами видите, как все сложилось…

Так и разошлись.

Через несколько лет в перерыве одного из выступлений кто-то вручил мне конверт. В нем лежала фотография незнакомого мужчины. На обороте была надпись: «Этот человек на книжной ярмарке выдавал себя за вас и давал автографы на ваших книжках».

Глядя на эту фотографию, я вспомнил ту давнюю историю на заводе твердых сплавов. Этот тоже был молодой человек, высокий и широкоплечий. Но он был брюнет, и у него были пышные украинские усы.

И все-таки большая честь.